

Тургенева по сложившейся традиции принято считать гениальным рассказчиком, тонким повествователем и, немного в меньшей степени, выдающимся романистом. В первую же очередь Тургенев – разумеется, поэт. И не потому вовсе, что написал ряд стихотворений (рифмованных и в прозе), а по общему пафосу своего творчества. Однако за признанным пластическим мастерством творца «Записок охотника» и «Отцов и детей» по обыкновению остаётся не оценённым в должной мере наследие Тургенева-критика, Тургенева – исследователя и толкователя основных культурно-исторических типов человечества (наметившего некоторые из них задолго до Н. Я. Данилевского и уж тем более О. Шпенглера). Об этом – не мешало бы поподробнее.

Торжество богооставленности

Известно, что Тургенев был западником (в XIX веке это отнюдь не всегда означало быть русофобом, в отличие от двадцатого и двадцать первого). Поэтому нет ничего удивительного в том, что именно западная культура, известная писателю до тонкостей и воспринятая им в качестве общечеловеческой, послужила Тургеневу основным материалом для размышлений, как он считал, о человеке вообще. Впрочем, сегодня (особенно на фоне всё более очевидного конфликта цивилизаций)

можно уже совершенно отчётливо увидеть, что речь у него ведётся всё-таки о специфически западном человеке.

Итак, в 1857–1859 гг. И. С. Тургенев пишет одно из наиболее ёмких и известных своих исследований – статью «Дон-Кихот и Гамлет», где на примере двух известнейших литературных персонажей изучает два основных, по его мнению, человеческих типа. Точнее будет сказать – два последовательно сменяющих один другой культурно-исторических типа западного человечества. И вот что интересно.

Несмотря на то что Дон Кихот и Гамлет появляются практически одновременно (во всяком случае, их создатели, Сервантес и Шекспир, по странному наитию судеб даже умрут в один день – 26 апреля 1616 года*), представляют они собою не столько разные человеческие типы, сколько разные исторические эпохи в истории Западной Европы.

Дон Кихот – это католический Юг, залитая солнцем Испания («дух южного человека опочил на создании Дон Кихота»); Старый Свет на излёте своего могущества. Сознание Дон Кихота – ясный вечер; ещё тепло и тихо, но по земле уже змеятся причудливые вечерние тени; в неверном отблеске заходящего солнца многие предметы выглядят уже неправдоподобно и бредущая домой отара овец вполне может сойти за шайку разбойников, а ветряные мельницы – за великанов

Напротив, Гамлет олицетворяет собой протестантский Север («дух северного человека, дух рефлексии и анализа»); и в первую очередь – это скупая на цвета и запахи островная Англия; сюда кинуты бродильные дрожжи Нового времени; островитяне готовятся прорваться во внешний мир, готовятся к покорению и переделу старого мира; Англия готовится стать Великобританией. По сравнению с мироощущением Дон Кихота сознание Гамлета – уже сумеречное; и его мало-помалу населяют неясные тени и призраки, в каждом шорохе чудятся крысы и соглядатаи. Плата за человеческое самостояние.

Дон Кихот символизирует уходящий старокатолический мир, Гамлет – смуту (душевную и мировоззренческую), предшествующую становлению нового – протестантско-капиталистического.

Кстати, этот «новый мир» впоследствии тоже обретёт своё литературное лицо: в образе Фауста. Причём Фауст вполне законно станет третьим (то есть завершающим) в череде сменяющих друг друга культурно-исторических типов западного человечества (после Дон Кихота и Гамлета).

Ничего удивительного, что и сам образ Фауста окажется в поле повышенного внимания молодого Тургенева. Более того, одноимённая статья писателя (датирована 1845 годом), писавшаяся наряду с первыми рассказами «Записок охотника», будет нести в себе многие мысли и высказывания, которые без сомнения сегодня можно отнести к «программным» для Тургенева.

Однако вернёмся к тем характеристикам, которыми Тургенев сопровождает Дон Кихота и Гамлета (а ранее – Фауста). Поневоле приходит на ум сравнение одного современного богослова, где представителей основных христианских конфессий он делит на тех, кто сопровождал Христа до Голгофы и остался стоять возле креста (православные); тех, кто устал стоять и, отойдя немного в сторону, присел на лавки (католики); и тех, кто спустился в город, купил участки земли с видом на Голгофу и открыл там магазины (протестанты).

* Так у Тургенева.

На примере выделенных Тургеневым культурно-исторических типов совершенно очевидно это удаление западного человечества от света не-вечернего – Солнца-Христа! И если в закатном свете католичества ещё одинаково оживают небесно-голубые мадонны Джотто и уродливые химеры Notre Dame de Paris (так же как в раздвоенном сознании Дон Кихота одновременно уживаются всесовершенная Дульсинея и «грубая и грязная мужичка», реальная возлюбленная несчастного идадьго); если в сумерках протестантизма, хотя и отравленный скепсисом и критцизмом, Гамлет всё ещё сомневается to be or not be и от явного безбожия его удерживает «боязнь страны, откуда ни один не возвращался», то Фауст в своей преобразовательной деятельности (окончательное покорение природы, торжество человеческого самостояния) уже откровенно заключает союз с дьяволом *против* Бога, и стгутившиеся сумерки сектантства завершаются всеевропейской Вальпургиевой ночью с финальным гала-концертом на Брокене (Лысой горе).

Таким образом, на примере трёх культурно-исторических типов (обобщённых в литературных персонажах и выделенных Тургеневым) несложно проследить путь западного человечества от увядающего половинчатого христианства (католичество, Дон Кихот) – через сомневающееся, критическое сектантство (протестантизм, Гамлет) – к торжеству богоборческого капитализма и неоязычеству Фауста!

Тем не менее Тургенев сам понимал очевидный западоцентризм и односторонность данной картины мира, и свои надежды на «русский ответ» гамлетам и фаустам европейской истории сформулировал в собственной Пушкинской речи (1880 г.), к сожалению, гораздо менее известной, чем речь Достоевского. Но об этом – позже, а сейчас о не менее важном.

«Стерильное православие»

В последнее время как только не пытаются «подстегнуть» и «ободрить», сиречь «осовременить» явно дряхлеющую отечественную филологическую мысль. Разговоры об «амбивалентности» стали неприличны даже на провинциальных кафедрах. Среди немногих сильнодействующих инъекций, заметно ожививших содержательное поле новейших литературных изысканий, первое место по праву принадлежит новому (т. е. разумеется, «старому», «возрождённому», «дореволюционному» и т. д.) «христиански-православному взгляду» на проблематику, образный строй и другие «аспекты» литературных произведений классики и современности.

Имена Розанова, Страхова, Ильина в трудах новообращённых филологов мелькают сегодня столь же часто, как во время оно – имена Маркса и Энгельса. И едва ли не по сходным причинам. Во всяком случае, Православие сделалось сегодня в филологии такой же неотъемлемой частью «истеблишмента», как и в политике.

Тем не менее, мне кажется, что Православие Достоевского, выстрададанное на каторге и очищенное мытарствами в петербургских трущобах, несколько отличается от «стерильного православия» большинства современных исследователей, получивших его «целиком и сразу» с библиотечных полок. Главное, не перепутать слова Христа «блаженны вы, егда поносят вас и ижденут имени моего ради» с новоявленным «ре-спектабельным мировоззрением», гарантирующим безбедный достаток

и необременительную совесть. В том числе «научную», увешанную орденами «за многолетнее и непорочное стояние в Вере (Православии, Самодержавии, Народности)» – нужное подчеркнуть).

К сожалению, ситуация «разрухи в головах», описанная Булгаковым более семидесяти лет назад, не только не преодолевается, но и, по всей видимости, ещё больше усиливается. В том числе – стараниями таких вот «православных» радетелей, беззастенчиво засоряющих современное культурное поле полуцерковным «терминологическим мусором» собственного извода. Среди многочисленных «метаной» и «синергий» недавно мне попалась и «соборная личность». На роль оной претендовал то ли неистребимый Платон Каратаев, то ли кто-то ещё из прославленных «малых сих» Великой русской литературы. И претендовал совершенно напрасно.

Соборная личность

Чтобы понять это, вернёмся к Пушкинской речи Тургенева. Пожалуй, самый важный вопрос (опуская многие очень точные, а порой и бесценные наблюдения о характере поэзии Пушкина и русской поэзии вообще), которым задаётся в своём выступлении Тургенев, – это вопрос о том, «можем ли мы по праву назвать Пушкина национальным поэтом в смысле всемирного (эти два выражения часто совпадают), как мы называем Шекспира, Гёте, Гомера?». Понятно, что Тургенев вопрошает об этом, в первую очередь подразумевая создание одного великого литературного образа, который наиболее полно воплотил бы в себе тот или иной культурно-исторический и цивилизационный тип (в нашем случае русский) и был бы всемирно признан в качестве такового. Примеры Одиссея (героический период Древней Эллады), Гамлета (Реформация и религиозное брожение Северной Европы) или Фауста (попавшая серой пробирка Нового времени), что называется, очевидны.

И что же? Ссылаясь на то, что «Пушкин не мог всего сделать и что ему одному пришлось исполнить две работы, в других странах разделённые целым столетием и более, а именно: установить язык и создать литературу», Тургенев неутешительно подытоживает: «быть может, явится новый, ещё неведомый избранник, который превзойдёт своего учителя – и заслужит вполне название национально-всемирного поэта, которое мы не решаемся дать Пушкину».

Неутешителен же вывод Тургенева (о будущем «избраннике») потому, что сделан он в 1880 году. То есть ко времени, когда уже создана вся классическая составляющая Великой русской литературы – от «Бориса Годунова» до «Братьев Карамазовых» включительно. Стало быть, ни Петруша Гринёв с Онегиным, ни Тарас Бульба с Чичиковым, ни Обломов с праведниками Лескова, ни Раскольников с Алёшей Карамазовым, ни Пьер Безухов с Платоном Каратаевым *не выразили с исчерпывающей полнотой русский культурно-исторический тип XIX века*. Однако и последующие: ни Анна Каренина (упаси боже!), ни сёстры и чёрные монахи Чехова, ни челкаши и климы самгины Горького, ни Григорий Мелехов, ни другие персонажи Великой русской литературы XX века вплоть до Ивана Денисыча с Иваном Африканычем не дали такого обобщающего образа русского человека, который был бы сопоставим с Гамлетом или Фаустом (а именно этого ожидал Тургенев). И если время от времени недобросовестные интерпретаторы (русофо-

бы) и пытаются увидеть всех русских обломовыми или же, напротив, капитанами тушинскими (это уже героизаторы), то всё равно – ничего кроме натяжки не выходит.

Хотя и безо всякой натяжки для всего мыслящего человечества уже давно очевидно, что Достоевский и Толстой – поэты всемирно-исторические, стоящие в одном ряду с Гомером, Гёте и Шекспиром. А вот гамлетов русских всё нет как нет!

Здесь, как мне кажется, происходит методологическая ошибка, и мы уже на протяжении двух веков ищем чёрную кошку в тёмной комнате смутно догадываясь, что её вообще там нет.

Дело в том, что сам характер Русской цивилизации (православно-общинной, как мы понимаем) в корне отличается от последовательной культурной преемственности цивилизации Западноευропейской (в вульгаризированном виде – Североамериканской) от Античности с её установкой на индивидуализм и, как следствие, героизм в качестве высшего проявления индивидуализма. Так у них – от Троянской войны сквозь века Римской истории вплоть до Наполеона и Ницше.

Вглядимся же в наших героев (в военном, наиболее отчётливом смысле этого слова), что литературных, что исторических: Александр Невский («Не в силе Бог, а в правде»), смиренный инок-богатырь Александр Пересвет, капитан Тушин и добродушный богатырь-инок Иван Флягин, флота Российского архистратиг святой праведный Феодор Ушаков, а также «тихие» герои Курочкина и других авторов фронтовой прозы, «тихий» герой Чеченской войны Женя Родионов и его прообраз у Проханова – рядовой Звонарёв, наконец!

Даже в формулировках Суворова («Господу было угодно даровать русскому воинству победу») и такого сомнительного «героя» как Емельян Пугачёв («Господу было угодно покарать Россию чрез моё окаянство») – совершенно отчётливое осознание себя лишь орудием Божественной воли! То есть ничего «героического» в привычном антично-возрожденческом (Гомер, Шекспир), прометеевско-люциферианском (Гёте) смысле этого слова. И это – у бунтовщика! Впрочем, важно тут – именно *русского* бунтовщика.

Разумеется, есть в русской классике яркие и убедительные («сильные») образы зла (зло всегда более эффектно): от Печорина и Ставрогина до Вронского и булгаковского Воланда включительно. За исключением последнего – это не всегда однозначное зло; с метаниями, колебаниями. Но всегда – нерусскость, чужеродность в народном теле. Следовательно, в качестве русского культурно-исторического типа выступать они тоже не могут.

И здесь самое время вспомнить о «соборной личности». В полном (и единственном) смысле этого слова *Соборной личностью может быть только весь Русский народ, или (что то же самое) – вся полнота Русской Православной Церкви.*

То есть каждый человек, род, сословие, народность (малороссы, белоруссы, чуваша, мордва), разумеется, сохраняют свою индивидуальность, но в моменты трансисторические, сверхвременные (Божественная Литургия, война, призвание на Царство) выступают в качестве единой Соборной личности. Яркие примеры тому: призвание Рюрика и Романовых; Отечественная и Великая Отечественная война; всенародное прославление Серафима Саровского и Царственных Мучеников.

И необходимостью рассказать себе и миру о том, что является сущностью русского культурно-исторического типа, о Соборной личности –

не одном, пускай и на помаженном лампадным маслом и умильно окующем мужичке, а обо всей полноте русского народа (который без Иванато Карамазова неполный!) – и вызвана к жизни Великая русская литература. А Русский народ – её главный и единственный, по сути, герой. Неслучайно и то, что на такие важнейшие события, как Отечественная и Гражданская* война русская литература откликнулась именно эпосом, где и кутузовы, и каледины (но не только они!) абсолютно равны десяткам и сотням других *равнозначных* персонажей; в ситуации, когда создаётся портрет Соборной личности Русского народа в переломные моменты его существования.

Следовательно, все надежды Тургенева, а вслед за ним и целой армии «специалистов» на появление русских гамлетов и фаустов оказались тщетными. Тем не менее Великая русская литература создала и представила миру уникальный русский культурно-исторический тип – Соборную личность Русского народа. Однако, на мой взгляд, о полноте картины говорить ещё рано, так как и о соборной полноте Русского народа в условиях многовекового культурного и религиозного раскола, оглушительного атеизма и вещизма последних десятилетий – говорить тоже не приходится. Поэтому краски на портрете Соборной личности Русского народа, начатом рукою Пушкина и Гоголя, прописанном в глубину Достоевским и Толстым, насыщенном тонами и полутонами русской литературы XX века – ещё не просохли, черты лица ещё не застыли. А это значит, что у будущей (и настоящей) русской литературы, точно так же как и русской истории, есть совершенно чёткие и неотъемлемые обязательства перед её великим прошлым: закончить соборный портрет Русского народа и привести его к окончательной, вневременной уже ясности.

* Мне могут возразить, что же это за проявление соборности – братоубийственная Гражданская война? Однако стоит вспомнить, как соборно призывался (от всех сословий) на Царство Михаил Фёдорович Романов (и всё его потомство на веки вечные) и как соборно же (спустя триста лет) Русский народ (купечество, офицерский корпус, крестьянство, не говоря уже об интеллигенции) отрёкся от последнего Царя, высылая ему депутацию Госдумы, а также телеграммы командующих фронтами с просьбой об отречении. Соборным (т. е. всенародным), как это ни горько, может быть не только подвиг, но и грех. И он ждёт такого же – соборного – покаяния.